



Максим КИКТЕВ

Хлебниковская «азбука» в контексте революции и гражданской войны

Эр, Ка, Эль и Гэ —
Воины азбуки —
Были действующими лицами этих лет,
Богатырями дней, — (СП, 5, 319)

говорит Хлебников в «Зангези». События революции и гражданской войны осмысляются им как «страшная рубка двух старост Азбуки» — Эль и Ка (РГАЛИ. Ед. хр. 117. Л. 2 об.), но в ином случае старостами могут оказаться и другие «буквы».

Дикой схваткой двух букв,
Чей бой был мятежен,
Азбуки боем кулачным
Кончились сельской России
Молитвы, плач их, —

говорит он в поэме «Берег невольников» (СП, 3, 339). И если в последнем случае речь идет о борьбе «бэ» и «же» — о том, как «жратва чугуна», пушечное мясо мировой войны, превращается в «братву» мировой революции, — то борьба Ка и Эль гораздо шире отдельного частного образа и не может быть истолкована так конкретно и однозначно.

«Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка», «каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя» (СП, 6, 174–175), — писал Хлебников в статье «Наша основа» (1919, изд. в 1920 г.), завершающей работу над «азбукой понятий», «азбукой ума», или просто «азбукой». Но почему и в каком смысле «буквы», «согласные звуки» или даже стоящие за ними «понятия» или «образы» оказываются «воинами» и выступают «действующими лицами этих лет», «богатырями дней»? Не уяснив такой их актуализации, не понять, по-видимому, и самой по себе «азбуки».

Работа над ней оставалась одним из основных направлений творчества Хлебникова почти на всем его протяжении, причем с самого начала была органически связана с другим магистральным направлением интересов поэта — размышлениями о природе времени и исследованием его законов. В 1920 г. накопившееся количество перешло в новое качество: статья «Наша основа» действительно подводит итог «утверждению азбуки», а вместе с тем, она обозначила рубеж, за которым хлебниковские образы-«звуки» вошли в некоторое новое измерение, становясь каждый особым «миром» или носителем своей «мировой истины». Подобно этому хронологические изыскания Хлебникова после «полосы числа» и установления «чистых законов времени» в 1920 г.¹ стали складываться в «Доски судьбы»; но вот каким был в черновиках поэта едва ли не первый образ будущих «Досок судьбы» (он же — едва ли не первый образ и будущего эпоса о Зангези):

Зачем мне летописи, дневники свобод?
Лучше вытру доску для писем
И поставлю Ка и Эль. (РГАЛИ, ед. хр. 80, л. 36 — ноябрь
1920 г.)

I. Приведенный набросок есть, по-видимому, самый ранний текст, в котором Ка и Эль стоят рядом как антагонисты и ведущие силы или герои исторического процесса², причем образ Эль к концу 1920 г. уже был одним из важнейших символов в поэзии Хлебникова.

Эль, это солнышко ласки и лени, любви!
В «улье людей» ты дважды звучишь!
Тебе поклонились народы
После великой войны, —

так раскрывается он в «Зангези» (СП, 5, 316).

«Л — движение без власти большей силы свободы», — писал Хлебников еще в 1913 г. (СП, 5, 206). В «Нашей основе» это определение развивается следующим образом: «Возьмем пловца на лодке: его вес распределяется на широкую поверхность лодки. Точка приложения силы разливается на широкую площадь, и тяжесть делается тем слабее, чем шире эта площадь. Пловец делается легким. Поэтому Л можно определить как уменьшение силы в каждой точке, вызванное ростом поля ее приложения. Падающее тело останавливается, опираясь на достаточно большую поверхность. В общественном строе такому сдвигу отвечает сдвиг от думской России к советской России, так как новым строем вес власти разлит на несравненно более широкую площадь носителей власти: пловец-государство — на лодку широкого народовластия» (СП, 5, 175)³.

Одновременно с «Ладомиром», в начале 1920 г., Хлебников слагает гимн — «Слово о Эль» (СП, 2, 428) и затем вновь возвращается к нему уже в конце 1921 г. — в «Гроссбухе» (РГАЛИ. Ед. хр. 64. Л. 10 об. С. 106–108); в последнем варианте читаем:

Мы любим, Л широким сделал,
И те, кто любят, — это люди.
Точки отвесной удар
В ширину поперечную — это старинное Эль,
Ляли и лели — легкие боги из облака лени.
Эль — это воля высот
Стать шириной,
Парить, — широкое не тонет.

Кроме «старинного Эль», мы встречаем в «Гроссбухе» (л. 78 об.) и выражение «Эль этих лет» (ср. в «Зангези» «действующие лица этих лет»):

Могила царей
Урал
Где кровью царей
Руки свои замарал
Эль этих лет
Крикнув ура⁴.

В поэме «Царапина по небу», работа над которой была начата одновременно с «Ладомиром», «Эль любви, лебеда, лелеки» ассоциируется с именами «Лаотзы, Лассалья, Ленина, // Луначарского, Либкнехта» (СП, 3, 274).

«И тщетно Ка несло оковы во время драки Гэ и Эр», — говорит Хлебников в «Зангези», имея в виду «Гэ Германии», «Гэ Гогенцоллернов» и «Эр России», «Эр Рюриковичей», «Эр Романовых» («Здесь Г и Р древнее, чем станы. Это не есть игра случая. “Рок” имеет двойное значение судьбы и языка. Первый звук в отличие от других есть проволочка, русло токов судьбы», — писал он еще накануне войны (СП, 5, 289), и продолжает:

Гэ пало, срубленное Эр.
И Эр в ногах у Эля! (СС, 3, 330)

Сложнее с образом Ка. Его превращение в конце 1920 г. в один из главных хлебниковских символов может показаться совершенно неожиданным. Между тем по количеству упоминаний К в трактующих «азбуку» текстах до середины 1920 г. и по разработанности и устойчивости его определений эта «буква» разделяет с Л первое место.

Более того, К в материалах по «азбуке» появляется даже раньше, чем Л, — еще в конце 1900-х гг. (см. ниже), тогда как Л — лишь в начале 1912 г. (НП, 325–327).

К ассоциируется у Хлебникова со «смертью», «лишением свободы», «малоподвижностью», «исчезновением движения» (СП, 5, 205). «К — переход сил движения в силы сцепления. Камень, закованный, ключ, покой, койка, кол, кольца» (СП, 5, 207). И как не похожа на проникнутое пафосом определение Эль сухая фраза «Нашей основы»: «Значение К — неподвижная точка, прикрепляющая сеть подвижных (СП, 5, 236).

По-видимому, впервые, хотя еще и не прямо, Ка актуализируется в качестве символа в стихотворении «Поэтические убеждения» (1919 или 1920 г.) — в строках:

И кулака не боюсь
Небесной Чеки (СП, 5, 108)

Реальная аббревиатура, ставшая известнейшим неологизмом современности, осмысляется и метафоризируется здесь в категориях «азбуки понятий» — как сочетание именно хлебниковских Че и Ка, т. е. как вместилище Ка: «Ч — оболочка. Поверхность, пустая внутри, налитая или обнимающая другой объем. Череп, чаша, чара, чулок, чрен, чоботы, черевика, черепаха, чехол, чахотка» (СП, 5, 207); «Че — полый объем, пустота которого заполнена другим телом» (СП, 3, 333). Этому Ка «Чеки» противостоит в стихотворении «Поэтические убеждения» хлебниковское Пэ (оно «объединяет действие огня» — см. ниже; оно есть «движение, рожденное разностью давлений», «бурный рост объема», «Перун, парень, пламя, пар, порох, пыл, песни и сам пламенный Пушкин», «П по значению обратно К» (СП, 5, 208, 217, 210):

В Че божество мое Пэ
Оттуда пролью свое Эль
Лени покоя на путь пересекающей площади
Прыгать вином
В Че бога пустом, на блюде
Серебряном кованом (СП, 5, 109).

Так возникает у Хлебникова метафора «божественного взрыва», который практически одновременно становится в «Ладомире» «ключевым образом поэмы»⁵.

Кроме «Председателя чеки»⁶, непосредственно теме «чеки» посвящено еще одно стихотворение «Гроссбуха», также выросшее из харьковских впечатлений 1919–1920 гг.; оно открывается строками:

В море мора,
 В море мора
 Точно чайка
 Чрезвычайка
 (РГАЛИ, ед. хр. 64, л. 31об.).

Как прямой ответ на эти строки звучит стих «Зангези»:

Это Эль строит морю мора мол.
 А смерти — смелые мели. (СП, 3, 329; вспомним «и Эр в ногах у Эля!»).

В стихотворении «В море мора!..» поэт говорит:

Годы, годы
 Мы мечтали о свободе,
 И свидетель наши дети:
 Разве эти
 Смерть и цепи
 Победителя венки?

Смерть и цепи — прямые атрибуты Ка.

Одним из первых в революционном лагере Хлебников увидел противоречия и опасность в развитии революции — увидел в ней не одно, а два начала: «вперед» и «назад». В декабре 1920 г. в Баку в случайном коллективном сборнике он опубликовал стихотворение, которое переписал потом в «Гроссбухе»:

Воет судьба у-лю-лю.
 Это слез милосердия дождь.
 Это сто непреклонных Малют,
 А за ними возвышенный вождь. <...>
 (СП, 3, 102).

Здесь мы и встречаем слова: «Это сразились вперед и назад». Вариант этого стихотворения (РГАЛИ. Ед. хр. 43. Л. 6.) содержит строки:

Рот человечества, так говорю
 От имени тела —

прямо предвосхищающие строки ахматовского «Реквиема»:

И если зажмут мой измученный рот,
 Которым кричит стомиллионный народ <...>.

Таким образом, только пройдя через метафоризацию «чеки» в «Поэтических убеждениях», Ка, которое исходно противостояло П, становится антагонистом Эль. Новый материал оно начинает вбирать в себя в процессе подготовки «Досок судьбы» с конца 1920 г. Анализируя ход мировой свободы (РГАЛИ. Ед. хр. 82. Л. 33.), Хлебников опирался на «летопись 1917–20 г.» (СП, 6–1, 10). Среди его записей рубежа 1920–1921 гг. есть следующие: «7–8 11.1917. Захват власти буквой Эль во имя мира. Ленин (РГАЛИ. Ед. хр. 87. Л. 20); «5 авг. 1917. Арест Троцкого и Луначарского властью К (РГАЛИ. Ед. хр. 85. Л. 32). В одном черновике с приведенным выше наброском о доске для писем читаем запись, которая может пролить свет на символику противостояния Ка и Эль: «Ленин — Каледин» (РГАЛИ. Ед. хр. 80. Л. 39).

В большей степени, чем кто-либо еще из генералов контрреволюции, А. М. Каледин мог иметь для Хлебникова символическое значение. Боевой генерал и атаман Войска Донского, провозгласивший независимость Донской области и пытавшийся опереться прежде всего на казачество (в этом качестве он объективно оказывается для Хлебникова своеобразным «противоРазиным», именно «Разиным наоборот»), командир первых отрядов Добровольческой армии и непосредственный предшественник Корнилова и Деникина, он раньше других понял безнадежность борьбы («Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно») и 29 января 1918 г. застрелился. Его стремительный путь к финалу — всего два месяца с декабря 1917 по январь 1918 г. — с особой наглядностью подчеркивал обреченность контрреволюции. Прямые ссылки на судьбу Каледина обрамляют Плоскость VII «Зангези», открывая и закрывая «рассказ про наше страшное время словами Азбуки», где с темы Каледина Хлебников начинает:

Богатый плакал, смеялся кто беден,
Когда пулю в себя бросил Каледин,
(СП, 3, 325) —

и затем возвращается к ней — уже как к теме Ка:

И крася облако судьбы собой,
Давая берег новый руслу человеческих смертей
Последним ходом в проигрыше —
Дуло у виска, идет бледнея Ка.
(СП, 3, 329)

Оформление хлебниковского символа происходит буквально у нас на глазах — происходит превращение его именно в «слово» («слово

Азбуки»). Однако речь до сих пор шла лишь о внешней стороне дела — о влиянии на оформление символа внешних событий. Но есть другая, внутренняя сторона. Уже история *Ка* показывает, что хлебниковская символика несводима к однозначным прямолинейным истолкованиям и менее всего является иллюстрацией или обобщением неких «реальных прототипов». Дело вовсе не в «совпадении букв». Поэтому посмотрим пристальнее, что лежит в основе этих символов — какие обобщения выражаются или обозначаются ими, что именно в них обобщено, и не менее важный вопрос — в каких категориях осуществляются обобщения.

II. Первые образы будущей азбуки появляются у Хлебникова в рабочей тетради еще конца 1900-х гг. (РГАЛИ. Ед. хр. 63): «Слова, выражающие крайнюю точку, острие, начинаются с *К*» (Л. 9 об.), «*Ч* объединяет слова, означающие 1) быть вместилищем чего либо, 2) обладать властью над чем-то, 3) быть средой (Л. 10 об.), «*Б* начало радости», «*ГЛ* лишенный обычного. Глаз — без кожи. Голый. Голод без пищи», «*Т* объединяет уменьшение объема», «*П* объединяет действие огня» (Л. 11 об.), «*Б* объединяет начало благ жизни» (Л. 12), «*Г* — корень подневольного падения» (Л. 15 об.). Этот период принято называть у поэта «словотворческим». Тем примечательнее, что первые образы «азбуки» возникают как будто без прямой связи с словотворческими опытами. Последние заполняют, например, обе тетради того же времени, собранные в ед. хр. 60 (РГАЛИ), а в ед. хр. 63 представлены сравнительно редко; так же и в статье «Наша основа» утверждение «азбуки» дано в разделе «Заумный язык», а не в предшествующем ему разделе «Словотворчество».

До азбуки еще далеко. Единственное, что объединяет эти разрозненные и разнородные определения букв, — запись на л. 10, вокруг которой они рассыпаны: «Слова как токи от ассоциативных с звуком центров»⁸. Она закрепляет, по-видимому, принцип, лежащий в их основе, и состоит он в том, что слова возводятся непосредственно к «звукам», которые обособляются и абсолютизируются в качестве носителей некоторых значений, минуя уровень корневой системы и морфологии языка. Поименно корневая система и морфология, как бы игнорируемые здесь, выступают на первый план и актуализируются, «оживляются» в словотворческих построениях Хлебникова, опирающихся как раз на «законы языка» (СП, 5, 234), — вот что исходно разводит в стороны разработку «азбуки» и «словотворчество», как разные и уравновешивающие друг друга направления ранних исканий поэта⁹. В той же рабочей тетради встречаем запись, стоящую особняком (Л. 14 об.): «Битвы звуков». Где происходят эти «битвы» и что охватывают? Пока, по-видимому, им еще нет места, иначе как в «словах», внутри «слов» — в «токах от ассоциативных с звуком

центров», где вытесняя и замещая друг друга, «звуки» утверждают новые «смыслы» (см. выше, как пример, «морю мора мол. / А смерти — смелые мели).

Смыкаются разработка «азбуки» и «словотворчество» на следующем этапе — в набросках незавершенной статьи 1912–1913 гг. «Учение о наималах языка» (РНБ. Ед. хр. 25). Статья задумана как исследование: «Задачей этого исследования будет нахождение простого языка, наименьших звучащих единиц, имеющих смысл, и проведение законов сложения этих единиц в числа языка» (Л. об.), — но представляет собой, по существу, манифест. «Наимал слуха есть и наимал ума» (Л. об.) — таков главный тезис Хлебникова, и самое интересное заключается в том, что в ходе его утверждения и развертывания этот тезис оказывается обратимым. Не только «звук» есть «смысл», но и «смысл» есть «звук». «Простейший носитель смысла» («самый скорый умоносец») «есть то же, что и простейший звукодержец, носитель звука — звучарь» (Л. об.). «Носитель смысла» и «носитель звука» тождественны. Понятно, что «носителем смысла» выступает «звук», но что такое «носитель звука»? Очевидно, хлебниковским «звучарем» в этом контексте может быть только «смысл». «Наименьшие звучащие единицы, имеющие смысл» оказываются именно тем, что много позже, уже в 1920 или 1921 г., Хлебников однажды назвал «мыслительными единицами в оболочке звуков» (РГАЛИ. Ед. хр. 117. Л. 6); они «неподвижны» (там же), т. е. неизменно тождественны себе, тогда как «подвижными» и переменчивыми оказываются «распыляемые» на эти единицы «слова».

Остановимся на неологизме «звукодержец». С одной стороны, он буквально значит «носитель звука», а с другой — образованный по аналогии с «самодержец», он, несомненно, есть шаг к постулированию хлебниковского «самовитого слова». Примечательно, что при преимущественном, как кажется, внимании к «звукам» «самодержцами» у Хлебникова оказываются именно «смыслы»; к понятию звука-«умоносца» нам еще придется вернуться. В подготовительных материалах к статье «Учение о наималах языка» эти «самодержцы» — «звучари» прямо названы «особями» (РНБ. Ед. хр. 26. Фр. 4. Л. 1 об.). Вот в каком качестве они ведут свои «битвы» — пока еще только в «словах»¹⁰.

Значений конкретных букв Хлебников не касается здесь вовсе. Это объясняется, вероятно, тем, что практически одновременно, в другой рукописи, также оставшейся незавершенной («Значковый язык» — РНБ. Ед. хр. 24), он пытается разработать систему как раз неких абстрактных значений («понятий» и отношений между ними), которые и выражались впоследствии «буквами» его «азбуки». Именно здесь высказана мысль о том, чтобы «свести все понятия к немногим

чисто геометрическим операциям на логическом поле» (Л. 16), как и мысль о «творчестве новых понятий (узлов и точек мысли, ее поворотов, внезапных изгибов и ценных, красивых движений)» (Л. 12). В целом, эта работа несет явное отражение идей символической логики (см. в особенности л. 14 об.). Для выражения «понятий» поэт предлагает ввести особые «значки» (откуда и идет заглавие рукописи); по его мысли, они должны составить в будущем «письменный язык всех народов» (Л. 14 об.). Так впервые появляется у Хлебникова прообраз его «мирового», или «звездного», языка, который, однако, в последующие годы осуществлялся поэтом на основе не «значков», а именно «азбуки». По отношению к «звукам» этот «значковый» или «письменный» язык оказывается именно «Немым языком»: очень возможно, это его название появилось даже раньше, чем вынесенное в итоге на обложку (ср. л. 2 об. и 3 об.). По существу, здесь мы впервые сталкиваемся с идеей той множественности «языков», систематизацию которой Хлебников намечал впоследствии в «Гроссбухе»¹¹.

Замысел «Значкового языка» разработан и детализирован еще в меньшей степени, чем «Учение о наималах языка». Но примечательна очень своеобразная закономерность (своего рода ««дихотомичность» мышления, «концептуальная бинарность»), состоящая в том, что в ходе работы интересы писателя разветвляются на каждом этапе в двух направлениях, как бы отталкивающихся друг от друга. Мы проследили два этапа: сначала семантизация «звуков» возникла в противостоянии «словотворчеству» и так же затем утверждение самой идеи образов-«звуков» происходит в противостоянии «немому языку» «понятий», которые позже выражаются ими. То, что в итоге слито воедино, исходно предстает как противоположные устремления, как будто не предполагающие их последующего синтеза. Возможно, более глубокое проникновение в материал покажет, что подобным же образом и постоянное соприкосновение друг другу, пересечение друг с другом разработки «азбуки» и исследования «законов времен» и есть лишь частный, особый случай такого разветвления интересов в двух направлениях, их «дихотомичности».

При этом бросается в глаза удивительная устойчивость у Хлебникова ряда мотивов, образов, тем, которые могут показаться случайными или побочными, но всякий раз возникая по-новому, оказываются, по существу, сквозными. Так в статье «Учение о наималах языка» от размышлений о «грубой и нежной азбуке», в которой «грубый и нежный звук образуют пару» («Ер и ерь и нежные гласные позволяют рядом с грубым рядом звуков поставить нежный ряд» — РНБ. Ед. хр. 25), — протягивается нить к двум стихотворениям, записанным в «Гроссбухе» осенью 1921 г. рядом, параллельными столбцами (РГАЛИ. Ед. хр. 64. Л. 57 об.), — «Грубый язык» и «Нежный язык» (СП, 5, 75).

С заглавием «Немой язык» перекликается в другой рукописи того же времени (РНБ, ед. хр. 29, фрагм. 3, л. 2 об.) стоящая особняком, тоже, вероятно, как неосуществленное заглавие, запись: «Рыбье слово»; она зачеркнута, и Хлебников написал под ней: «Вопль рыбы». Пока это только наброски, однако семь лет спустя в одной из бакинских тетрадей рубежа 1920–1921 гг. заглавие «Рыбья речь» появляется над записью о «законах времени», в которой поэт говорит как раз о «немом слове» устанавливаемых им закономерностей (РГАЛИ. Ед. хр. 91. Л. 11)¹². В ином плане идея «немоты» повернута в гл 16 «Трубы Гуль-муллы»: «Плетусь, ученье мое давит мне плечи. / Проповедь немая, нет учеников (Тв., 329). В конце долгого пути от «значкового языка» «проповедь немая» сохраняет, по-видимому, свои прежние ассоциации: только на их основе здесь происходит обратная метафоризация эпитета и образ переводится в непосредственно-бытовой план («нет учеников»). То, что эти прежние ассоциации оказываются очень глубоки, показывает гораздо более сложная ситуация в поэме «Ночной обыск», где бог (иконописный лик бога), когда его хочет победить и сокрушить один из моряков, возвещает пожар:

Он шевелит устами
И слово произнес... из рыбьей речи (СП, 1, 273)¹³.

Идея «немоты» в самых разных ее отражениях и преломлениях очень существенна для понимания «азбуки». Можно сказать, «азбука» родилась не столько из первых определений букв, сколько из преодоления «немоты» «значкового языка». Проблема освобождения от «немоты», и отнюдь не только от «немоты» человека (ср. «Улица корчится безъязыкая» Маяковского), — проблема речи («песни») «немизн», изречения «немотствующего» оставалась одной из центральных для Хлебникова. Те же «чисто геометрические операции на логическом поле» слишком для него значительны — как «смыслы», — чтобы не обрести «звук», а обретая «звук», они перестают быть схемой и обретают жизнь. С другой стороны, мы уже видели, что «грубый язык» и «нежный язык» были постулированы как некие объективные (и еще совершенно абстрактные) возможности или категории речи задолго до того, как встретили свой предмет и были реализованы в этой функции. В строящих «азбуку» статьях 1913–1916 гг. (они составляют третий этап ее разработки) буквы и идеи неосуществленных «значков» — «звуки» и «понятия» — идут навстречу друг другу¹⁴.

III. Хлебниковские «буквы» обобщают, прежде всего, конкретные слова. Значение четырнадцати таких «букв» поэт специально формулирует в статье 1916 г. «Перечень. Азбука ума» (СП, 5, 207–209). По своему содержанию она непосредственно предшествует «Нашей

основе» (в ее филологической части), но без того осмысления метода в целом, которое определило пафос последней и действительно превращает ее в манифест. На первом плане в «Перечне» именно представление материала, а не истолкование утверждаемого принципа. Девятнадцать «буквенных гнезд» (некоторые гнезда дублируют друг друга) охватывают здесь в общей сложности более ста шестидесяти слов, но более ста из них — слова, в тех или иных контекстах выступающие у Хлебникова ключевыми. В пяти самых больших гнездах, охватывающих без малого половину материала, доля последних колеблется от 74 до 92 процентов.

Вопрос о произвольном подборе «объединяемых» начальными буквами слов снимается, таким образом, сразу же. Хлебников, как ни широки его построения и выводы в «Нашей основе», оперирует не внешним и нейтральным общеязыковым материалом, а материалом собственного творчества, или, наоборот, можно сказать, весь язык он делает своим творчеством. Поэтому «каждый согласный звук скрывает за собой» не просто «некоторый образ», но образ, накопленный его работой, причем уже в подготовленных материалах к статье «Ученье о наималах языка» эта работа получила вполне осознанную направленность: «Я буду думать, как бы не существовало других языков, кроме русского» (РНБ. Ед. хр. 26. Фр. 4. Л. 1 об.). Но ситуация вместе с тем сложнее: образы поэта восходят и не только к его творчеству и работает он не просто с русским языком как таковым; реальность всегда шире и неожиданнее собственных деклараций автора или выводов исследователя. Вот характерный пример. «В России начинается с Б мятеж ради мятежа», — писал Хлебников в 1913 г. (СП, 5, 191–192), и едва ли можно понять эти слова, не прочитав в них отражение пушкинского — «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Очень хорошо виден здесь самый принцип ведущего к «азбуке» мышления: исходной данностью для поэта выступает не та или иная реальность сама по себе, но именно реальность, выраженная и зафиксированная в слове. Так называемая словесная предметность раскрывается здесь не как то, что лежит в основе словесного образа — выражается им, но, прежде всего, как то, что возникает в качестве его результата — что порождается им.

Четко выделяются два типа определений хлебниковских «букв». В одном из них само обобщение («понятие») предстает как некий чувственный образ, отражающий личное эмоциональное переживание обобщаемого и имеющий оценочный смысл. Таковы, например, самые ранние определения Б (см. выше) как «начала радости» («Б объединяет начало благ жизни»), определение З в «Перечне»: «З созвучное колебание отдаленных струн. Разделенные дрожания одного происхождения и числа колебаний. Отражение. Зеркало, зой

(эхо), зыбь (отраженная буря), змей,двигающийся отражаясь. Звать, звезды, зорька, заря, зарница (отражения молнии), зень, зрак, озеро, зуд — боль без причины, отраженная» (СП, 5, 207) или одно из ранних определений К: «К начинает слова или около смерти: колоть, (по) койник, койка, конец, кукла (безжизненный, как кукла) — или слова лишения свободы: ковать, кузня, ключ, кол, кольца, корень, закон, князь, круг, — или малоподвижных вещей: кость, кладь, колода, кол, камень, кот (привыкающий к месту)» (СП, 5, 205).

Другой тип — определения, лишённые непосредственной чувственной реальности и выдержанные в категориях, которые можно охарактеризовать как физико-геометрические. Вот здесь и сказываются, по-видимому, идеи «Значкового языка». Эти идеи существуют как бы в единой системе пространственно-силовых координат; в них преобладают такие выражения (по существу, термины), как «точка», «прямая», «направление», «пересечение», «угол», «ось», «плоскость», «поверхность», «площадь», «объем», «тело», «часть», «целое», «уменьшение», «увеличение», «сила», «вес», «давление», «движение», «положение», «покой» и т. д. Таковы определение в «Перечне» С как «движение посланных неподвижной точкой нескольких точек, под узким углом и в одном направлении. Солнце, сиять (лучи), сыновья, сой (потомство неподвижного предка), семья, семя, сол (луч правителя)» (СП, 5, 207), позднее определение Б как «встречи двух точек, движущихся по прямой с разных сторон. Борьба их, поворот одной точки от ударов другой» (СП, 5, 218) и многие, многие другие. Эти физико-геометрические или пространственно-силовые определения открывают в языке для поэта целые пласты новых значений и «смыслов». «Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее — вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык — и вы увидите пространство и его шкуру», — заключает Хлебников в «Зангези» (СП, 3, 333).

В целом, определения последнего типа количественно преобладают в поздних текстах, хотя достаточно широко представлены и в ранних; встречаются и смешения обоих типов. Важна тенденция, проявляющаяся в движении, например, от раннего определения Л как «движения без власти большей силы свободы» к его геометрической интерпретации («переход движения из движения по черте в движение по площади» — см. выше) или от ранней отрывочной характеристики: «П объединяет действие огня» — к развернутому физико-геометрическому определению в «Перечне»: «П — движение, рожденное разностью давлений: порох, пушка, пить, пустой. Переход вещества из насыщенного силой давления в ненасыщенное, пустое, из сжатого состояния в рассеянное. Пена, пузырь, прах, пыль. П по значению обратно К. Кузнец сковывает, печь, пушка порох, пыль,

пена, пузырь, пуля — рассеивают прежде собранное вещество. При П мы имеем свободные в одном измерении пути для движения вещества от сильного давления в слабое» (СП, 5, 208).

Вопрос о том, во что превращается здесь «логическое поле» «Значкового языка», или о физико-геометрической картине мира, которую составят определенные «буквы», будучи сведены воедино и систематизированы, требует специального рассмотрения. Будем помнить, однако, что хлебниковские «звуки» — это с самого начала самостоятельные особи, «самодержцы» — «звучари», участники «битв», т. е. некие самостоятельные субъекты взаимных действий; поэт слышит в них и «звериные голоса» (СП, 5, 106), так что в субъективности их явственно проступает объективное природное начало, очень существенное и дорогое для Хлебникова. Когда такой образ-«звук», «особь» с ее «звериным голосом», включается в систему физико-геометрических координат и отношений, он сразу же приобретает характер иной, совершенно новой для него абстракции и, как кажется, не может не вступить с самим собой в серьезнейшее противоречие. С одной стороны, подобно математическому, хлебниковский «буквенный» символ должен бы стать теперь чистой условностью, обозначающей некое понятие, не имея в принципе непосредственной общности с обозначаемым. Но, с другой, он по-прежнему остается порождением чисто словесным (продолжая «жизнь слова в нем самом», которая, по Хлебникову, есть «сущность поэзии» — РГАЛИ. Ед. хр. 60. Л. 63, 53) и функционирует именно как слово («имя»). Не утрачивает он и своей субъективности с объективно-природным началом в ней: в математическом символе, в отличие от хлебниковского, не услышать собственного голоса. Сама система вырастает на основе уже установившихся значений «букв» и подчиняется им, а не предустановленные отношения дают содержание системе и требуют внешних обозначений. Ведь и при «чисто геометрических операциях» каждое из выводимых и определяемых Хлебниковым «понятий» само по себе менее всего умозрительно и неизбежно сохраняет свой чувственный облик и эмоционально-оценочный смысл или лишается всякого содержания.

В результате в противоречие с собой вступают не символы, а система, которая и оказывается в конце концов именно «Азбукой». В замысле «свести все понятия к немногим чисто геометрическим операциям на логическом поле» можно видеть отражение идей символической логики или ее утопический образ, но характерно, что искомые «операции» Хлебников определил как именно «геометрические», т. е. наиболее наглядные и конкретно-предметные из математических¹⁵. «Логическое поле» в своей непосредственной данности оказывается именно пространственно-силовым и, как ни парадоксально, физико-геометрические характеристики только усиливают в хлебниковских

образах-«звуках» их объективное природное начало и создают всеохватывающий вселенский размах стоящих за ним обобщений. Уже не просто «звериные голоса» в «битвах звуков», но действительно «Пространство звучит через Азбуку» (СП, 3, 325), причем актуализируется и осмысливается оно отнюдь не как абстрактная категория, а как непосредственная реальность мира, определяемая прежде всего его движением и потому необходимо включающая в себя также и время — равно время космоса и время истории.

Те же Ка и Эль предстают в этом контексте как действительно космического масштаба мифологические образы или существа, персонифицирующие некие объективные силы мироздания. Когда события революции и гражданской войны осмысливаются как «страшная рубка двух старост Азбуки», прежние «битвы звуков» отодвигаются на задний план и дело уже совсем не в том, что за каждым из них «скрыт некоторый пространственный образ» (РГАЛИ. Ед. хр. 93. Л. 4) или «особый пространственный мир» (РГАЛИ. Ед. хр. 84. Л. 6 об.); речь идет теперь отнюдь не об абстрактных пространственно-силовых отношениях, и «бьются» отнюдь не сами по себе «звуки». Вот здесь и сказывается исходный эмоционально-оценочный смысл хлебниковских символов. Подобно языческим божествам, хлебниковские «понятия» («мыслительные единицы») раскрываются как обобщенные представления неких явлений и сил природы (единого и цельного космоса, включающего в себя и человеческий мир), сформулированные не в теоретическо-понятийной форме, а в чувственном образе. Самое интересное, что такое понимание находит не только прямое подтверждение, но и развитие в хлебниковских текстах. «Боги как обожествленная азбука», — дважды, по двум разным поводам, записал он летом 1920 г. (РГАЛИ. Ед. хр. 89. Л. 5 об. и 64 об.); третья запись (примерно того же времени) дает развернутую конкретизацию этой мысли:

Любопытно, что боги родились из обожествленной азбуки.

Боги как божественная азбука.

Значение Пэ — рост пустоты, разделяющей пару точек.

Богом пустоты, поля был Пан.

Липа у пруссов посвящена богу Лиго. Он был богом весны и веселья. У литовцев липа посвящена Лаймо, у славян липа была зеленым жертвенником Ладо, лелю, Ляле: богам и богиням радости и веселья. Леший, лес, лист, липа. Короче, липа посвящена тремя народами звуку Эль, ставшему богом.

Бог липы Эль раньше просто был звуком азбуки.

Перун родствен напору, толкающая точка сила.

Кали, индусская богиня смерти, исходит из обожествленного звука Ка, начала покоя, остановки движения.

Кек богиня земли египтян, родственно камню.
 Гех — огонь, от Го — подыматься вверх, гореть.
 Венера богиня вихря любви, венков сердца.
 Либитина этрусков богиня Эль.
 (РГАЛИ. Ед. хр. 86. Л. 22 об.)

Мы видим, что «богами» (хотя в этом качестве еще и не антагонистами) Ка и Эль стали раньше, чем «действующими лицами этих лет». Отдаленные предпосылки обожествления «азбуки» прочитываются уже в словотворческих построениях «Учения о наималах языка»: как за «звукодержцем» стоит «самодержец», так и «носитель смысла», «умоносец», по-видимому, имеет за собой в качестве исходной модели слово «богоносец». Если так, то нелишне подчеркнуть конкретность этого раннего словотворческого образа, отражающую, надо думать, конкретность («наглядность», своего рода «иконичность») актуализируемых в «азбуке» «смыслов»: «богоносец», по Далю, это не только «содержащий в себе Бога», но тот, кто «с иконою на груди», «кто носит икону о святой неделе и вообще при крестных ходах»; вспомним образ иконописного лика в «Ночном обыске»¹⁶.

Уже под непосредственным влиянием Съезда народов Востока в 1920 г. в Баку Хлебников обращается к «смуглым сынам» Египта («Смуглые, присоединяйтесь к нам, белым!») «Вы, создавшие имена богов странной красоты, звукового богатства и простоты, обожествив звуки мировой азбуки, сделав каждый звук азбуки богом, с его душой — мировой истиной этого звука — таково происхождение ваших первых богов <...>» (РГАЛИ. Ед. хр. 89. Л. 61 об. — 62), — и эти слова в гораздо большей степени и в самую первую очередь относятся не к древнеегипетским, а к его собственным «богам».

Здесь возникает, однако, очень существенный и интересный вопрос: если «звуки» (и стоящие за ними «понятия») суть именно «боги», то что же есть тогда «ум» в хлебниковской «азбуке ума» («азбуке понятий»)? Другими словами, если «каждый звук азбуки это «бог, с его душой — мировой истиной этого звука», то как соотносятся эти «мировые истины», которые должны быть, очевидно, так же объективны, как и мир, с «мыслительными единицами в оболочке звуков», принадлежащими, насколько можно судить, исключительно сознанию субъекта? Мы подходим здесь к проблеме единства субъекта и объекта, субъектно-объектного тождества.

С одной стороны, несомненно, здесь имеется в виду ум в обычном обиходном смысле — способность человека мыслить, т. е. субъекта (индивида или коллектива), носителя данного языка, «звуки», «буквы», «имена» которого выступают «мыслительными единицами». Но с другой стороны, так же несомненно, что это есть и нечто иное, совершенно объективное и безотносительное к тому или иному

субъекту. В контексте «обожевленной азбуки» это есть именно «ум богов» — некий общемировой порядок или строй, объективная логика мироздания, определяющая самые общие закономерности бытия и сводящая воедино «мировые истины» всех «богов», — «широкая дорога единого мирового разума» (РГАЛИ. Ед. хр. 71. Л. 5). Этот объективный мировой ум, управляющий «понятиями» (которые как бы «летят с разных сторон, каждое — в свою «точку рассудка» — рассудка субъекта), не может не быть по-своему тождествен тому, что Хлебников так искал в это же время, — «законам чистого времени», «чистым законам времени»; «азбука» и «законы» суть разные ипостаси одного начала и дополняют друг друга. «Изучать время», по Хлебникову, значит «переселяться в мозг богов» (РГАЛИ. Ед. хр. 83. Л. 20 об. — февраль-март 1921 г.), «счет чисел, счет времени — вот очи бога» (РГАЛИ. Л. 4 об.). Не случайно именно на протяжении «полосы числа» «звуки азбуки» стали превращаться в «богов», и только на этой основе (а не просто в ходе переломных событий революции и гражданской войны, как и не в результате «совпадений букв») они стали «действующими лицами» и «богатырями дней»; «эти лета» и «дни», в которых «буквы» выступают «воинами», суть, по-видимому, не что иное, как осуществление «времени» (действия «мозга богов») в пределах данного конкретного «пространства». В соотношении «законов» и «азбуки» намечается, таким образом, определенный масштаб. Создается впечатление, что именно «буквами» «законы времени» осуществляют «предписание событий» (РГАЛИ. Ед. хр. 92. Л. 3 об.). Мир открывается как «доска для писем», «летописи» и «дневники» действительно не нужны.

При этом есть плоскость, в которой «законы» и «азбука» сопоставимы самым непосредственным образом. Подобно «азбуке», «законы времени» для Хлебникова «звучат» (РГАЛИ. Ед. хр. 60. Л. 70–71 — начало 1900-х гг.), «тайну времени» он «слышит» (РГАЛИ. Ед. хр. Л. 43 — ноябрь 1920 г.), в действии этих «законов» он различает «основной звук и служебные», «звук-начальник и звучную дружину» (Там же, л. 21). Подобно «азбуке», хлебниковские «числа» («первые три числа») также приближаются к «обожевлению» (хотя этот процесс едва намечен): «Один, Тор германцев — трепет звука одного и трех, единицы и тройки <...> Перун — Первый» (РГАЛИ. Ед. хр. 83. Л. 32 об.), «число Два, которое так похоже на латинское *deus*» (РГАЛИ. Ед. хр. 77. Л. 47 об. — декабрь 1920 г.). Подобно Ка и Эль, среди «чисел» есть свои «старосты»: «Чтобы осторожно полуобнажить тайну, нам нужно понять мир как поприще борьбы 3 и 2» (Там же. Л. 45).

Соотношение «законов» и «азбуки» требует особого рассмотрения. Предварительно его можно определить как соотношение «мозга» и «ума». Только благодаря этому «уму» в «азбуке» может осуще-

ствиться и быть прочитана цельная мифологическая система, дающая, если воспользоваться замечательным выражением, возводимым к А. С. Грибоедову, «философию природы в лицах, роман нравственного мира»¹⁷, пусть и в лицах («особях») чрезвычайно неожиданных и своеобразных, — роман, развертывающийся не на страницах книги, а непосредственно в окружающей реальности, или, наоборот, всю вселенную (как «доску для писем») превращающий в «Единую книгу» («Читеж-град»).

И, в то же время, здесь имеется в виду все-таки субъективный человеческий ум, а не что-то другое, и не только потому, что сама по себе «азбука» отнюдь не божественна, а именно «обожествлена»; ведь именно люди «создали имена богов», «сделав каждый звук азбуки богом». Дело прежде всего в том, что за этим объективным мировым умом («единым мировым разумом») у Хлебникова, насколько можно судить, нет личности какого-либо высшего субъекта — единого бога монотеизма или верховного божества языческого пантеона. Сам по себе этот объективный мировой ум абсолютно безличен: «души», «истины», «голоса» принадлежат только отдельным «богам», — и существует он, по-видимому, только в их взаимодействии. Единственной личностью, способной свести в себе целое, остается, таким образом, личность человеческого субъекта, и речь идет поэтому не просто об осознании мира человеком или об отражении мира в субъективном мышлении, адекватном или неадекватном, но об объективном акте самосознания и самоизречения мира в человеческом разуме и языке. К так понимаемому человеческому уму (он же — ум мира) и обращен уже в 1922 г. хлебниковский «благовест» в «Зангези» — «большой набат в разум, в колокол ума» (СП, 3, 334)¹⁸. Без понимания этого сказанное поэтом действительно остается немой проповедью. Проблема освобождения от «немоты» раскрывается здесь в одном из важнейших ее аспектов. Если «законы времени» открывают «очи бога», причем открывают их именно в человеке, точнее — в единстве человека и мира, в «Очими-ре» (СП, 1, 394), то подобным же образом «азбука» оказывается одним из важнейших путей изречения «немизн» и преодоления исходной «немоты» мироздания. Эволюция «азбуки» и ее новое осмысление с 1920 г. по-своему завершают работу, которая шла у Хлебникова с самого начала его творчества и сама по себе гораздо шире одной только «азбуки». «И не в нас ли воскликнула земля: “О, дайте мне уста! Уста дайте мне!” И дали ли мы ей уста?» — писал он еще в 1908 г. (Тв, 579). Выразительно заглавие одного из ранних хлебниковских фрагментов — «Юноша Я-Мир» (СП, 4, 35); вспомним и «Песнь Мирязя», как можно вспомнить и утверждение я Азии в «Письме двум японцам» (СП, 5, 155).

«Я» поэта при такой ориентации приобретает особую модальность, которая иногда прямо декларируется поэтом («Рот человечества,

так говорю // От имени тела»). Но вот иной случай. «Я говорю так не только потому, что говорю, но потому, что второй я говорит так через меня» (ГПБ. Ед. хр. 26. Фр. 1. Л. 2 — этими словами Хлебников завершает запись, цитированную в примеч. 13). «Второй я» присутствует постоянно, претворяясь или не претворяясь в «Я» поэта и уже здесь можно видеть, что благодаря ему «Я» поэта захватывает взгляд на себя как бы извне, со стороны. В пределе не остается в чистом виде ни «Я» поэта, ни «Я» мира, а есть всякий раз то или иное их совмещение или пересечение, и возможности таких сочетаний неисчерпаемы.

Поэзии возвращаются функции прорицания и заклęcia, «священной речи». Рассмотрим как пример небольшое стихотворение Хлебникова, не из самых известных. Оно написано под непосредственным впечатлением Съезда народов Востока в Баку, который увлекал поэта, мечтавшего об «азиатском съезде», и озаглавлено — «Б» (кавычки Хлебникова). Итоговым шести строкам предшествуют более 220 строк черновики (а среди них — и листок с приведенным выше наброском о «доске для письмен»). Можно видеть в этом стихотворении один из предельных случаев чисто хлебниковской «звуковой метафоры», как можно видеть в нем одно из хлебниковских «заклятий». Оставим без комментария реалии, объяснение которых может раскрыть самые глубины и «азиатской», и революционной темы Хлебникова. Вот его текст.

От Баку и до Бомбея
За Бизант и за Багдад
Мирза-Бабом в Энвер-бея
Бьет торжественный набат.
«Ныне» Бакунина
Ныне в Баку (НП, 180).

В этих шести строках как будто нет вообще ни «Я» поэта ни «Я» мира. И не в том дело, что «Я» осталось в черновиках. Мы встречаем здесь не что иное, как «Я» отдельного звука («воина азбуки») — самодвижение и самоизъявление звука «Б», выступающего в качестве некой особой «стихии» в мире — одной из его сил или богов. Безусловно, мы не имели бы права на такое истолкование, если бы Хлебников сам не поставил этот звук в заглавие, где он фигурирует в своем наиболее обобщенном и абстрактном виде — как «имя». Именем должен быть представлен его носитель. Но совершенно ясно, что никакого определенного предмета за именем для читателя здесь нет. «Начало благ жизни», «мятеж ради мятежа», «встреча двух точек <...>» сами по себе ни порознь, ни в своей совокупности какого-либо устойчивого определения предмета дать здесь не могут; они и сами нуждаются в комментарии, а для читателя они скрыты вне текста. И одно из двух:

либо движение этого звука в стихотворении мы должны рассматривать лишь как случайную игру (очередное «совпадение букв»), не имеющую никакого принципиального смысла, либо же надо признать, что отнюдь не тот или иной предмет, данный в готовом и законченном виде, раскрывается здесь в том или ином плане, а, наоборот, сам процесс превращения звука в «имя», его осуществление в качестве «имени», охватывающего в своем движении самые разные и все новые предметы и тем связывающего их друг с другом, — составляет содержание стихотворения и создает его заклинаящий смысл.

Думается, представленный материал проливает свет на очень существенную сторону творчества Хлебникова. В целом, по моему мнению, исследование «азбуки» особенно перспективно в том отношении, что оно дает возможность в пределах одного круга проблем и на самом конкретном уровне рассмотреть в творчестве Хлебникова практически на всем его протяжении соотношение и взаимную обусловленность теории поэта и его практики.

